



Когда я появился на свет, мне было двенадцать лет, пять месяцев и сто шестьдесят четыре часа. Ибо мы не рождаемся в тот миг, когда чья-то незнакомая рука извлекает нас и переносит в бесконечный и загадочный поток истории, а гораздо раньше, когда мысль о нас западает в голову еще неженатых мужчин и женщин, когда имя еще несуществующего создания только вырисовывается на туманном горизонте возможной жизни. Мы в большей степени состоим из мыслей, чем из плоти, и мысли эти проникают в нашу кровь из идей того, кто нас задумал, поэтому мы наследуем не только цвет волос, кроткий взгляд или мягкое сердце, но также иллюзии, надежды и разочарования наших предков, которые в свою очередь унаследовали их от еще более древних, через поколения, ведущие свой род от прямоходящего, рудольфского и, наконец, первого человека, поэтому каждый из нас носит в себе как бы всю историю человечества в миниатюре.

Как возможность, гипотеза, замысел я, стало быть, существую ровно с того вечера, когда мой отец подумал, что обзавестись сыном — единственный способ забыть, что сам он им не был. По милости месье Бальзака моя жизнь все чаще стала выступать на первый план среди прочих гипотез. По милости Оноре и Курцио Вербика́ро, лудильщика в четвертом поколении и заядлого театрала, задумавшего тем летом поставить

на сцене своего погорелого театра «Папашу Горио» в собственном драматургическом переложении.

Вито сидел во втором ряду возле матери и приходил в волнение, когда старик Горио напыщенно говорил о своей любви к дочерям и, непонятно почему, в каждой сцене обнимал их, проливая слезы.

Вито Мальинверно, мой родитель, об отце мог только мечтать, тот умер, когда он был еще маленьким, и если в мире есть чувство, способное хоть как-то смягчить и исцелить боль безотцовщины, то это — безмерное и безусловное чувство любви отца Горио. И именно в этот момент, прекрасным летним вечером, в то время как парижские колокола звонили по усопшему, в то время как Эжен Растиньяк в черном плаще шел по кладбищу Пер-Лашез, именно в тот миг, как между Тимпамарой и городом Люмьеров умирало неизвестно сколько отцов Горио, я занял свое место в истории человечества.

Церковные часы показывали шесть двадцать шесть, дня тридцатого, месяца ноября, года тысяча девятьсот тридцать пятого, когда я родился, на три недели позже Алена Делона и на день раньше Вуди Аллена, помесью которых я точно не был.

Это было не самое лучшее время для рождения: Италия напала на Эфиопию, за что демоплутократические державы наложили на нее эмбарго. Я появился на свет во время автократии, в эпоху экономического кризиса, когда плуг вспахивал землю, а сабля его защищала, когда заваривали чай каркаде, носили казеиновые шарфы, дымил бурый уголь, кофе смешивали с цикорием, все разводили кроликов и пристрастились к касторовому маслу.

Я появился на свет в эпоху экзистенциального кризиса.

Короткое время и не в этой жизни я был единственным сыном, родившимся хромым из-за несбалансированного развития организма, ставшего физическим знаком перекошенного времени, в котором жил мир, и слепоты Природы, которая, раздавая охапками жизнь и смерть, изредка ошибалась в выборе.

Мой врожденный порок был замечен не сразу. Взяв меня на руки, едва я вышел из материнской утробы, Вито Мальинверно понял, что не ошибался, что любить мое маленькое тело станет его утешением и что единственный способ, которым люди могут исправить ошибку злосчастной судьбы, — это не дать ей повториться в детях. Понадобилось четырнадцать месяцев, чтобы моя хромота обнаружилась. Пока меня носили на руках, я был такой же, как все: и когда я спал, и когда меня пеленали, и когда ставили на ноги в кроватке, чтобы я попрыгал, я был такой же, как все малыши, живущие на родительских руках, в уравновешивающем всех воздухе. Пока не попытался сделать первые шаги, выстраданные и замедленные, точно высадка на Луну.

Попробовал и упал.

Отец на секунду отпустил мои руки, я сделал шаг и падал. Шаг — и все насмарку. Так продолжалось несколько дней, после чего меня показали участковому доктору. Тот измерил длину моих ног, как замеряют доски из орехового дерева обычным складным метром, и вынес приговор: разница минимальная, левая короче правой на два сантиметра. Я стал обычным ребенком.

— А исправить можно? — спросил отец.

— Нет, — отрезал доктор.

Вито вернулся домой, как с похорон, прижимая меня к груди еще сильнее, он любил меня еще больше, ибо сейчас его безмерная любовь должна была подрасти еще на два сантиметра и восполнить недостающую

плоть, ибо если замечаешь изъян в человеке, которого любишь, то должен помочь от него избавиться, и для этого, видимо, нужна любовь, — чувствовать себя необходимым, быть клеем для треснувшего стекла, заплаткой на рваной одежде, швом на кровоточащей ране.

Меня зовут Астольфо Мальинверно. В любом другом месте на земном шаре такое имя сочли бы причудливым и несуразным; когда такие имена произносятся в классе, все прыскают со смеха, а когда входишь в бар — усмеваются исподтишка. К счастью, я рожден в Тимпамаре, правильном месте, подтверждающем, что если рождаешься здесь, пророчества справедливости непременно сбываются.

Здесь существовала самая старая в Калабрии бумажная фабрика.

Построена она была в середине девятнадцатого века. Тогдашний управитель финансами провинции Гаэтано Каккúри объездил всю местность, вдумчиво все изучил, проанализировал, взвесил и выбрал для строительства фабрики это место, формально — потому что здесь много леса и чистой воды, на самом деле потому, что влюбился в неопишемую красавицу Катáру Казабону, ради которой бросил жену и детей. Тем самым счастливая судьба жителей Тимпамары обязана тайным, вкрадчивым ласкам дочери вонючего дубильщика кож и, возможно, в этом тоже осуществлялось странное пророчество.

В начале двадцатого века, когда красота Катáры Казабоны угасла, а циклически повторявшиеся вселенские потопы разрушили половину города, управляющий финансами отступился и продал то, что осталось от фабрики, богатому местному промышленнику Саверио Сеттиньяно, решившему официально вложить в нее свои средства, потому что бумажная фабрика

была одним из важных ресурсов экономики Калабрии, а на самом деле потому, что влюбился в пышногрудую красотку Анджелику Сарачену, ради округлостей которой бросил детей и жену. Когда об этом стало известно, жены промышленников запретили своим мужьям ездить по нашим местам.

Сеттиньяно, ловкий предприниматель, решил объединить приятное с полезным и расширил фабрику постройкой комбината по переработке макулатуры. За несколько лет от Марины-ди-Амендолара до Мелитоди-Порто-Сальво<sup>1</sup> Тимпамара стала известна как бумажный город: каждую неделю здесь сгружали сотни килограммов журналов, газет, плакатов, рекламных проспектов, папок, документов, но, самое главное, тысячи и тысячи старых книг, выброшенных за ненадобностью.

Новое предприятие помогло людям выжить, их не засосало в воронку эмиграции, как большинство лучшей молодежи из окрестных городов, бросившей землю, которая от засухи трескалась.

Для этой земли, где испокон веку дубили кожу, переработка макулатуры стала воистину спасением, работа с податливой бумагой исцелила мозолистые руки, обожженные кислотами и огрубевшие от тяжелых скребков для мездры. Даже очерстевшие души людей испытали загадочную метаморфозу.

Все началось с того, что какой-то рабочий, каждый раз перед тем как бросить в бочку с водой очередную порцию утильсырья, стал посматривать, что там написано: может, его заинтересовала фотография в газете

---

<sup>1</sup> М а р и н а - д и - А м е н д о л а р а находится на севере Калабрии, Мелито-ди-Порто-Сальво — на юге, расстояние между этими прибрежными городами — 314 км. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)

или спортивная новость, но времени дочитывать до конца не было, тогда он вырывал страницу и уносил ее с собой, может, и детям интересно будет; поэтому макулатурщиков привыкли узнавать по торчавшим из карманов листкам бумаги. Переход от статей к книгам не заставил себя долго ждать и, поскольку выпадали недели, когда тоннами сгружали одни старые книги, то вскоре их расшитые брошюры с перепутанными главами и сборники рассказов без обложек заменили вырванные из газет и журналов статьи. Вечером рабочие возвращались домой и после ужина усаживались на диван, доставали сложенные страницы и читали их или слушали в кругу семьи, распространяя бациллу пристрастия к чтению. Этому способствовал и западный ветер, прилетавший с моря и разносивший листья с грузовиков, из чанов, из груд макулатуры, сваленных на территории предприятия, и носивший по воздуху стаи французских романов, рои сонников, чаек со страницами «Отверженных» на белых крыльях, ласточек, зажавших в клювике приключения Гулливера, и фрагменты «Диалогов» Платона, припорошенных пылью цветущих платанов. В каждом углу Тимпамары, на балконах и подоконниках домов, на скамейках, багажниках автомобилей, на мусорных мешках и даже на дамских шляпках можно было прочесть страницу из романа. Люди поднимали их, пробегали глазами, если не занимало, клали в надежное место — на цветочную клумбу, на ступеньку, придавив камешком, чтобы и другие могли прочесть; а если нравилось, уносили с собой и хранили. Жители Тимпамары читали все и все запоминали словно вопреки судьбе, ждавшей эти книги в цехе переработки: там они были обречены на смерть, здесь им сохраняли жизнь.

Выходившие в ночную смену, чтобы не уснуть, пока идет вымачивание бумаги, принялись заучивать наизусть целые страницы и потом украшали ими свою

речь, встречаясь на городских площадях и в барах, — я свидетель — пересыпали свой крепкий неаполитанский за игрой в дурака стихами из Альфьери: *«Я одержу великую и страшную победу»*, или же, оставшись наедине, поступали так, как Торквато Бонвичино, цитировавший слова из «Грозового перевала», чтобы выпросить у жены прощения за измену: *«Я думаю только о тебе, постоянно, и если бы весь мир погиб, но ты бы осталась, я бы тоже продолжил жить, но если бы мир остался, а тебя бы не стало, я бы тоже погиб»*.

И даже вопреки их желанию, даже против человеческой воли слова из книг проникали в их плоть наподобие микробов и разносились кровью по всему организму, чтобы засесть потом в голове и при случае быть оттуда извлеченными, так что приезжие поражались, что у нас никто не говорит на диалекте, а только на богатом и возвышенном итальянском языке.

С определенных пор эти истории стали влиять на жизнь новорожденных, когда Рокко Скандале в отместку отцу не назвал только что родившегося у него сына отцовским именем, а дал ему имя Викторүго<sup>1</sup> — так записано и так произносится.

Жизнь в Тимпамаре протекала следующим образом: когда кому-то удавалось дать пинка ее монотонному однообразию, все следовали его примеру. С тех пор жители города сочли, что вольны покончить с фольклором и традициями и стали давать своим детям имена бумажных героев; в дальнейшем у нас появились свои Марсельпру́, Вольфганги, Вертеры, Демокриты, Проперции, Фьяметты, Ортисы, братья Гаргантюа и Пантагрюэль. Имена выбирались сообразно вкусу, но также в зависимости от того, откуда свозили к нам книги. Когда шел поток грузовиков

---

<sup>1</sup> Victor Hugo (франц.) — Виктор Гюго.



из закрывшейся музыкальной библиотеки с обилием хранившихся в ней партитур, в Тимпамаре возник бешеный спрос на Валькирий, Брумилд, Армид, Отелло и Дездемон; банкротство издательства географических атласов спровоцировало появление Афин, Женев, Луар, Галиций, Лиссабонов и Братислав.

Поэтому мое имя Астольфо Мальинверно ничем не отличалось от остальных, не считая меня самого; когда в школе Ахиллес Серрасанбруно в оправдание своей драчливости заявил, что носит имя великого греческого героя, победившего всех врагов, включая хромоногих, я застенчиво, но с твердостью в голосе ответил ему, что в истории есть много героев, выигравших великие битвы и войны, но никто, ни один из них, еще не побывал на Луне.

Я — библиотекарь.

Первый, для точности, в Тимпамаре, и пока что единственный.

Когда все началось, библиотека находилась в центре города, в нижней его части, где пересекались три важные транспортные артерии, напротив церкви Святого Акария, покровителя города, исцеляющего от меланхолии, позаимствованного нами из Нуайона<sup>1</sup>.

Посмотреть на нее сейчас, так это действительно библиотека с латунной вывеской при входе, книги расставлены по стеллажам, которые просматриваются сквозь стекла балкона, но все было не так, когда я впервые переступил ее порог. Мне было тогда тридцать четыре года. Я вошел в нее вместе с тогдашним советником мэрии, который привел меня туда после того, как увидел, что я читаю «Письма к Аттику» в скобяной лавке дяди, где я работал по окончании школы. Он купил четырнадцать восьмимиллиметровых болтов общим весом сто двадцать семь граммов, ровно столько, сколько требовалось, чтобы выправить мою колченогую судьбу.

— Ты любишь читать? — спросил он меня с ходу.

Через неделю он вернулся и принес собой какие-то бумаги: «Оторвись на пять минут и заполни эти документы».

---

<sup>1</sup> Ну а й о н — город на севере Франции. Святой Акарий (ум. ок. 640) был епископом Нуайона и Турне.